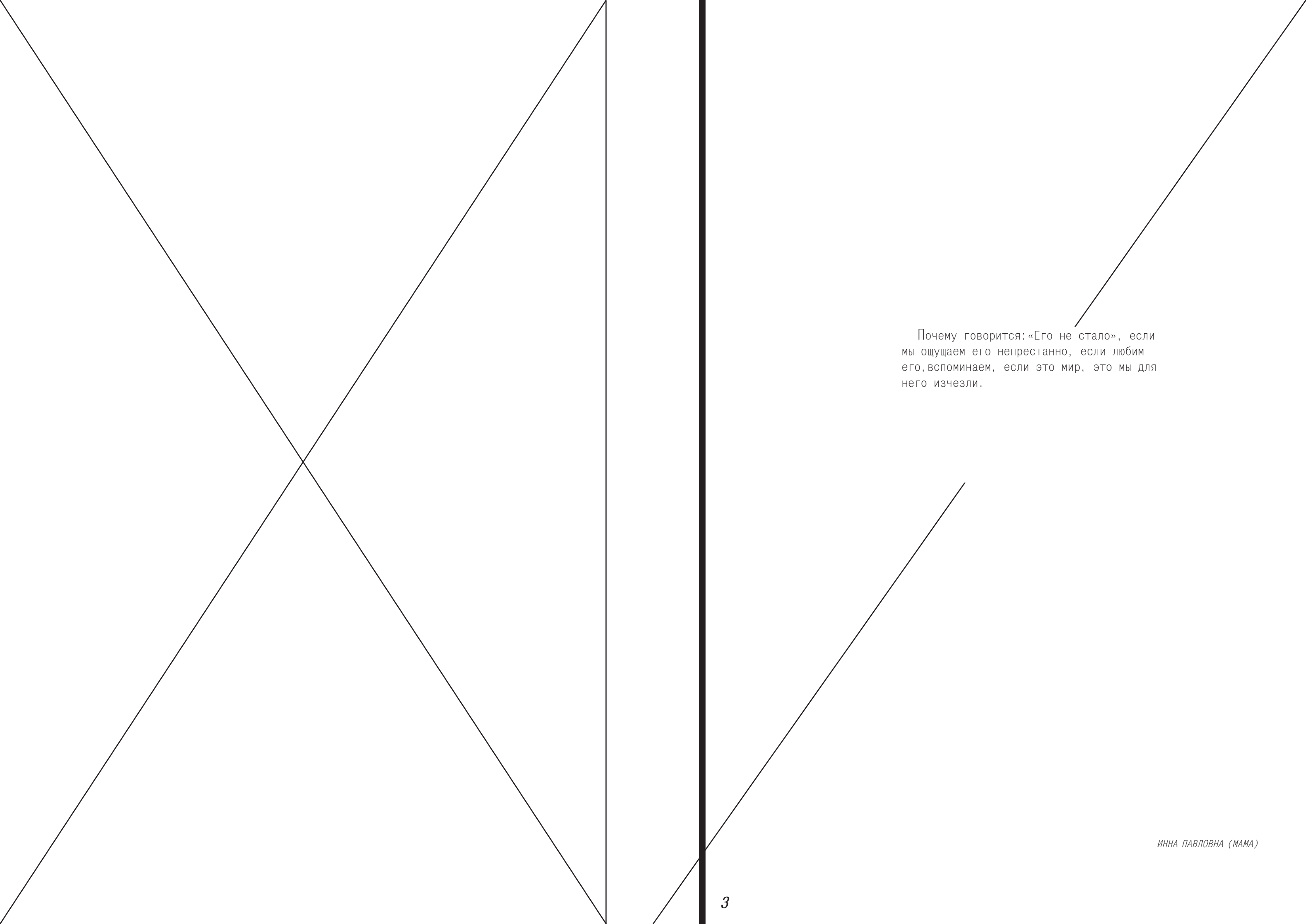


АМИНАЗИНЕ

памяти Дениса Абрамова





Почему говорится: «Его не стало», если мы ощущаем его непрерывно, если любим его, вспоминаем, если это мир, это мы для него исчезли.

ИННА ПАВЛОВНА (МАМА)

ЗДРАВСТВУЙ

МЭМ!

Я живу плохо, I отряд
из меня сделал важную вставку,
быют, издеваются. Провези блок
роботике и миз. Есть когда
до Лосева, вейти, пойти по дороге
и около здания камешком обертнуть
макруло и идти прямо похот
по чужую сторону не будет логерь
Президи пожелания, мне так
окутно и класно без тебе.
Есть разгад "жестокость" по соседству. Я
были всю жизнь милоксофа
можешь по дороге в лессерь и
сходить школадоки или коммюор
И в 4 отряде Провеза, "Крану"

любимые песни Топа (на 1997 год):

RADIOHEAD - exit music
ОКУДЖАВА - а как первая любовь
RANCID - timebomb
MORRISSEY - asian rut
БОНДЗИНСКИЙ - на полпути в рай
FUGAZI - last chance for slow dance
NAKED CITY - 1st LP
THE CLASH - london calling
SMASHING PUMPKINS - disarm (acoustic)
VICTIM'S FAMILY - freedom

(я помню, что он пытался еще вспомнить название
какой-то песни BORN AGAINST, "такая страшная", но не вспомнил)

и вариации на тему, список любимых пластинок:

RADIOHEAD - ok computer
MORRISSEY - maladjusted
JOHN ZORN - naked city (1st lp)
TRIBUTE TO SERGE GAINSBURG
MORCHEEBA - big calm
JOHN ZORN - masada 6
THE CLASH - london calling
SMASHING PUMPKINS - mellon collie
FUGAZI - in on the kill taker
БОНДЗИНСКИЙ - лобовой мэйнстрим

Верховный Глотатель

Каждый выходящий под дождь должен помнить – дождь это просто вода. Он просто идет и идет себе, вне всякой зависимости от того, желаем ли мы иметь дождь над собой и, желает ли дождь иметь нас внизу, задравшими голову вверх, клянущими этот самый дождь нещадно. Я решил не обращать на этот долбаный дождь никакого внимания. Вот и шел я, не обращая того самого внимания, на прохладные капли, затекающие мне за воротник. От дождя зудела моя невытая, нечесаная голова. А я чесал ее периодически. Друг, к которому я шел, скорей всего уже давно и безнадежно спал, забыв и обо мне и о дожде, стучащем в его окно. Потребив нынешним вечером все прелестные, удобные чудеса, что так безрассудно были дарованы жизнью не мне, а ему, он, бедненький, должно быть, притомился. Расслабленный вихрь глотания, верховный демон и жрец всех холодных ветров покинул на время дом моего друга, а с ним и все эти, неживые сейчас, жилища, прячущиеся за черными бездонными окнами. Сей, наимприятнейший из демонов, любит дождь, он появляется во плоти лишь когда дождь утяжеляет, обрисовывает его воздушную, прозрачную фигуру. Он поселился во всех жилищах, он навещает и меня изредка, но слишком благостен для меня его танец, слишком медленно ведет он свою партию желудочного сока, когда я имею глупость танцевать с ним. Меня в этом урчащем вальсировании не покидает мысль, что великолепная обходительность и светские манеры сочащегося так нежно слюной партнера есть ничто иное, как лукавая, сладостная ловушка. Мне мнится, что танец этот призван усыпить мою подростковую, негодующую натуру. Мне кажется, я усну, а он растворит, переварит заодно с указанными мной предметами и желаниями самого меня, сделает сердце мое такой же бессмысленной молекулой желудочного сока, как и у всех иных. Потому-то я предпочитаю по-треблять скромно и, по возможности, в гостях, где искус заводить вещи вместо друзей наименее выразителен во мне и наиболее слаб в друзьях. Не правда ли, удобная философия? Разные мысли шли со мной рядом, и ни одна в тот час не была раздражающей. Грусть была приятна, ненависть умна, уныние лирично. Попав под обаяние моих мыслей, ночь, сквозь струи, казалась мне весьма доброй и не страшной ничуть. Просто мокрой, да абсолютно пустой. Слишком пустой даже для тако-

го ненастья. Это-то и показалось мне несколько странным. “Пусть люди боятся дождя, пусть они презируют ночь, пусть смеются и язвят в адрес темноты, но почему так уныло замерли их верные железные коробочки, снующие туда-сюда при любой погоде и в любой неурочный час. Почему ни одна из них не ослепляет меня идиотским светом своих желтых глаз, почему не летит в меня грязь из-под их идиотских резиновых ног. И, вообще, почему вдруг никто не хочет меня убить?!” Что-то не так. Что-то явно изменилось в лучшую сторону. Ответ был столь очевиден, а я был столь обреченно влюблен в людей, что разгадка упорно пряталась от меня в тумане моего же собственного, наивного человеколюбия. И я, наконец, понял. И я понял, что ничего нет более вокруг меня. Все люди испарились, исчезли, перестали существовать, истлели в прах, раз и навеки. Мне отчетливо представилось, что я совсем один, что мир умер, что друг мой также благополучно умер вместе с этим поганым миром. “Ага,” – подумал я, “все ж таки мой веселый приятель демон, этот вечно влажный, урчащий повеса добрался до них всех. Он съел их, сожрал, сделал их тем, что любили они больше всего на свете. Он сделал их вещами. Он построил из них дома, он собрал из них механизмы, он обратил их в нефть, в пиво, разлил в баки и бутылки. Я смогу выпить их всех, если хватит мне жизни. Я смогу нажраться Далай-ламой и отхлебнуть папы римского. Я смогу поджечь и заставить гореть самое бессердечное, холодное существо на свете, что при жизни не грело даже себя, отупев от хладнокровного глотания. Я смогу придать полезность их ненужному существованию. ОНИ СТАНУТ НУЖНЫ МНЕ!!! Многие, став вещами, не смогут также обойтись друг без друга. Они, наконец, полюбят друг друга. К примеру, дверь немислима вне стен, в кои она помещена. Соответственно, ОНИ СТАНУТ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ!!! Еб твою мать, это ли не благо для цивилизации?”. “Что ж,” – решил я, – “к чему и куда идти мне теперь, когда все так прекрасно мертво. Быть может, так станет много лучше, чем прежде”. Полюбив вдруг эту мысль, я остановился. Я поверил в естественность одиночества, вернее, в естественность одинокого существования под дождем, среди пустых теперь домов, среди никогда не гаснувших фонарей, с трудом мерцающих через бесконечные капельки воды. Капельки эти пролетели многие километры, прежде

чем окончить свое существование здесь, у моих ног, на милом, сером асфальте. Так и люди, что окружали меня, прекратили делать это, пройдя многие километры и сказав так много слов. Слова эти нынче смыл дождь. Слова мертвы так же очевидно, как то, что я жив. Они оживут лишь тогда, когда я пожелаю произнести их вслух. Все. Я один. Я поверил в вечность того, что произошло. Я всегда буду один; и так же бессмысленно хороша, как сейчас, будет вся моя жизнь, вымытая этим сияющим дождем. “Вот то, о чем мы все втайне мечтали, боясь всеобщего порицания, то, о чем втайне грезили, боясь быть уличенными в мизантропии, боясь быть подвергнуты злым насмешкам,” – сказал я сам себе. Но почему-то повезло лишь мне одному.

Я стоял и чесал голову, будучи не в силах совладать с охватившим меня счастьем. Только слезы, идиотские, бессмысленные слезы стали моим ответом на произошедшее. Я плакал, глядя в черное, безмолвное небо, капли дождя смешивались с моими слезами, становясь единой влагой, состоящей из моих горячих, приземленных слез и отстраненно-холодных, божественных капель. Я был блаженно нем. Да и с кем тут говорить, если все умерли? Вдруг я побежал. Я должен был выпить. Я влетел в первое встречное кафе, включил свет, сел на стул возле стойки и замер, укутанный, закрытый со всех сторон теплом и уютом, спрятанный навечно от долгов, счетов, глупых женщин на скамейках и кухнях, глупых мужчин в кабинетах и коридорах, от глупого страха, от глупой смелости и даже от дождя, который заменил мне мою уже начавшую сохнуть и портиться душу, омыл сердце от грязи, грязь унес в реки, захватив с собой по случаю другую грязь, имевшую слабость, видимо спяну, окрестить себя “мыслящей”. “Пиво, пиво, пиво,” – стучало в моей голове. Найдя за стойкой все необходимое к пиву и само пиво, я ткнул первую попавшуюся кассету в магнитофон и стал пить свое холодное пиво, укачиваемый звуками некой заунывной джазовой пьесы, что монотонностью своей напомнила мне не то плач, не то вой восточных женщин, когда видят они смерть близких. “За человечественность, сограждане, за вечную материальность сущего!” Вокруг сидели, стояли, лежали вещи, недавно еще мечтавшие иметь и имевшие самих себя. “Только что вы были злы, похотливы, добры, щедры, всякие, но моя невидимость, мое “никто и ничто” читались в ваших тупо, либо изящно скользких взглядах. Так смотрят на тень, так вычитывают из своей памяти скучные, старые объявления, примеряя их к потерянными надеждам. Так слушают почти незаметный шелест. Так любят людей. Ха, простите, любили людей. Нынче же, запертые в молчание и угловатость, вы нежно, вы преданно смотрите мне в

глаза. Теперешний удел ваш, пожалуй, еще более велик, чем прежний; вы поступили на службу. Вы – служите, а тем, пожалуй, даже умны стали. Что есть более чистое, нежели верность и бескорыстие истинного, осознанного служения? Вы роняете слезы, моля, чтобы я поскорее использовал вас, тем самым придав смысл вашей новой материальности? Что ж, всенепременно исполню. Я и при жизни-то вашей не раз это делал, а теперь мне жаль вас безмерно, так что не беспокойтесь, пользоваться буду по полной, ведь вы стали так приятны, я ощущаю ваши умильные, нежные желания, я вижу в вас разум, который прятался от вас былых за бронированной толщей лобовой кости, и являлся лишь иногда, не находя понимания, будучи столь недоступно чуждым для тех странных эмбрионов, или, скорее, куколок из коих вы, нынешние, и произошли. Эволюция. Но не без демона, не без демона, не без баловства, как и всякая порядочная эволюция. А тем паче революция. Вы нравитесь мне такими, я хочу окружить вами всего себя, любоваться вами по утрам, слушать вас вечерами, спать на вас ночью. Сейчас, сидя в этой маленькой забегаловке, я начинаю любить вас, вещи, потому что вы больше не станете предметом зависти или раздора. Когда вы были людьми, вы были бездушны, сейчас вы обретае душу, вы...”

“Друг, а вы, я смотрю, уже хороши,” – раздался знакомый голос за моей спиной. – “Сидите тут, объясняетесь в любви этим глупым, пустым вещам...”

“Они больше не глупы,” – возразил я демону, сумевшему одарить человечество волшебством, во сто крат более важным, чем десять тысяч ангелов вместе взятых.

“Да полно тебе, они так же безнадежно глупы, как и раньше, лишь стали много полезнее,” – он помолчал и добавил: – “Для вас всех”.

“Не знаю, мне они кажутся законченными”.

“Закончены или нет, хм, да не это важно, голубчик,” – он вскочил на стол и заорал истошно: “Все-возможные засранцы и засранки! На школьной дискотэке о-о-объявляется медленный танец!!! Не желаете ли тур-вальсок? Я, чур, за кавалершу,” – добавил он, наклоняясь в мою сторону.

“Желаю”.

“Facile!”

Все поплыло. Закружились медленно вещи, откуда-то, непонятно откуда, зазвучал кривой вальс. Вещи вдруг все разом заговорили со мной, подобострастно заглядывая в глаза. Они умоляли не бросать их, не забыть об их бесконечной нужности в тот миг, когда алкоголь покинет мою слабую, дурную кровь, они рыдали и кляли друг друга, потом, вспомнив о своем новом благодетеле, наперебой извинялись друг перед другом. Я был пьян и давал им невыполнимые обещания. Я объяснялся в любви им всем, я объяснялся в любви своему демонхранителю. Вещам я говорил, что все они будут использованы, партнеру клялся в вечной преданности и обожаении. Однако даже в этом пьяном кружащемся блаженстве я не забыл, что чрезмерное усердие в глотании и по-треблении может с легкостью стереть ту тонкую грань,

что отделяет мое, теперь уже и вовсе архаичное, человекоподобие от превращения в вещь, а по-сему старался не слишком близко от себя вести партнера, держа его, по возможности, на расстоянии вытянутых рук. Легкость и волшебство происходящего начали незаметно укачивать меня. Неожиданно, сквозь все это дремотное и пьяное кружение какая-то мысль раздражающе, навязчиво стала стучаться ко мне. "Прочь, прочь, не хочу сейчас ничего. Хочу пустоты и блаженства. Прочь, сволочь". Но мысль была настойчива, она тшилась пролезть во все те немногие, свободные, не залитые опьянением, щелочки моего мозга. Она была так настойчива, что, в итоге, я пустил ее. Сначала я почувствовал просто щемящее беспокойство, никак конкретно не оформленное, являвшееся лишь предвестником будущего понимания. Потом тревогу, медленно переросшую в панику, как если бы в дверь мою кто-то упорно звонил и стучался среди ночи. Что-то из памяти, что-то из жизни и что-то в словах Верховного Глотателя пыталось завязаться в единую стройную цепочку. "А как же все те, кого я любил?" - вдруг подумалось мне. "Мои близкие, мои друзья, все те, без кого не мыслил я свое существование, те, кто лишь одним своим присутствием помогал мне справляться с моей больной жизнью? Где все они? Что случилось с ними в этой безумной смене цивилизаций? Как буду жить я без них, ведь они тоже заслужили право на счастье. Я так всегда хотел счастья для них, я радовался их благополучию и плакал, видя их горе. Как мог я, убаюканный свершением всех моих желаний, забыть о них?"

"Вы забыли, друг мой," - закричал мне прямо в ухо демон, - "вы забыли, что я произнес фразу "для всех вас". Поразмыслите над ней".

"Поразмыслить. Странно. Что поразмыслить, чертов ты дурак? Чего тут мыслить? "Для всех вас", ну для всех нас. Что для всех... Для всех. Всех. Ну, конечно, как я не осознал сразу. Я любил в них схожесть, их наивность, я любил в них способность к умеренному потреблению, несколько большую, нежели у других, доброту, за которую их так часто наказывала жизнь, встречающееся в них бескорыстие, которое нередко так дорого обходилось им. Да они все живы, мать твою так. Я, во многом хуже их, но я жив. Так, конечно же, они живы. Они обязаны быть живы. Они тоже были осторожны в танцах. Нас спасла наша глупая, замшелая мораль. Быть может и много, во сто крат лучше быть новой, чистенькой и ухоженной вещью, но пусть лучше так, динозаврами, последними из рода, останемся мы здесь. Иначе и быть не могло. На что же еще тогда нужны счастливые концы у счастливых историй".

"Эй, черт рогатый," - вскричал я, - "Надо срочно выпить по такому случаю".

"Сам ты черт рогатый, ископаемое, рудимент

эпохи, понимаешь. Я - демон! Я из ада! Надо же видеть разницу".

"Черти эти, по слухам, тоже, в общем-то, из ада. Ну да ладно, не обижайся, пожалуйста. Я тебя однозначно уважаю. Ты меня однозначно уважаешь? "

"Фрагментарно и не сейчас".

"Ну и прекрасно. Давай выпьем, а? За вещи, а?"

"Я и так пью. Теперь у вас тут это будет единственно достойное занятие. За вещи!"

"За вещи!"

Мы выпили, а потом еще выпили, после чего процесс стал необратим.

"Я те, говорю, тебя, дурака, здесь быть не должно. Ты - ошибка, миф".

"Да сам ты ошибка, миф. Чем докажешь, что ты черт? Где рога? Нет у тебя рогов. Где геенна?" "Геенна!? Счас будет тебе геенна! "

Вдруг я ощутил, как откуда-то потянуло озоном, невнятно бухнуло некое подобие грома, запрыгали искры, молнии, как в лейденских банках и медленно, словно нехотя, занялась небольшая лосиная голова, украшавшая стену нашего милого заведения.

"Запаляю все, ветер пепел развеет!" - проорал мой товарищ, истоиво вращая зрачками во все стороны.

"Мать, да он никак еще и дурак психованный," - подумал я сквозь пьяное безрассудство. Но вслух произнес с укором лишь скромное: "Сатанист".

"Палеозой," - ответил он, заметно отходя и тщето пуча глаза на лосиную голову, явно стараясь затушить ее.

"Меня обидеть легко, но вот понять мою страдающую тепла душу, вы, людишки, не сможете. Это тебе не Гете-Данте, понимаешь. Вам, тщетной плоти суетной, ввек не узреть стремленья истинного духа. Ты - прошлого лишь эхо, понять меня не можешь, судить меня не в праве, иметь меня не в силах. Понять демона! Ха, что за насмешка над вечностью моей," - язык его медленно, но верно начал заплетаться.

"А не насмешка ль над убогими, твое презрение к сути человеческой. И в праве ль ты судить несчастных недоумков, тувинцев и мордву?"

"Быть может, и не вправе, но имею понимание".

И так далее, в таком же примерно ключе. Очень типично.

Блаженство стало каким-то неизъяснимо абсолютным. Пред ним померкла вся моя прежняя жизнь. "Все, кого любил я, живы, они будут вечно живы, завтра я отыщу, найду их всех, и это будет просто хорошо". Эта мысль была последней в моем пьяном сознании, перед тем как я рухнул под стол, прямо на грязный, заплеванной пол кафе. Последней же картинкой, схваченной мной, стала мерзко чадающая лосиная голова на стене. И

сделалось темно.

...В голове работал кузнец со всей своей долбанной кузницей. Он со страшным грохотом и скрежетом выковывал какой-то предмет. Во рту открыл свои двери для утренних посетителей некий симбиоз морга и городской свалки. В общем, мы все знаем, что это такое.

В кафе было пусто. За окном сквозь туманное, сырое утро виднелся одинокий, совсем какой-то беспечный столб. Я кое-как, со страшными проклятиями и кряхтеньем доковылял до холодильника. Выпитая залпом бутылка пива резко изменила ситуацию: кузнец со своей кузницей закрылся на обед, а во рту начал функционировать вполне приличный ботанический сад. Вокруг не было ни единого движения. Глотатель, если он и не был сном, улетел, испарился, исчез как дым. Возможно, он отправился в другие запредельные миры, неся благие перемены для других, запредельных цивилизаций. В любом случае, вторая бутылка пива призвана была еще более прояснить обстановку. Лицо мое разглаживалось, кожа обретала эластичность, члены подвижность, а мысли относительную ясность. Приканчивая очередную бутылку пива, я вдруг услышал шум распахнувшейся сзади двери. Я вздрогнул, я повернулся, и мне стало хорошо. В дверь начали заходить все те, кого я любил.

Денис - мой добрый хоббит. Он сам так говорил: "я Фродо, нет я Сэм!" Он и, правда, Сэм - добрый, маленький, готовый для друга на все. Сколько раз он спасал меня, держал за руку и немножко веселил; голос у него был приятный, теплый. жаль, что сам себя он изводил всю жизнь, изводил... немного нещадно. но это свойственно всем хорошим, глубоким людям. и умным, чего уж там) ...его опыт, которым он с дружеским сарказмом щедро делился со мной, много раз спасал меня из неприятностей или просто заставлял чувствовать себя идиотом.. "Ведь ты правда идиот, ты действительно идиот, ты на самом деле идиот". Он говорил мне это так часто, что я в это верил. Конечно, я и есть идиот, но идиот, с которым он дружил, которого любил. Думаю, Денис был самым гениальным, преданным, теплым, любимым идиотом, которого я любил, любил, сам того не понимая. правда, я понял, что люблю только тогда, когда потерял его.

пс. часто слушая очень лирическую музыку - я плачу, думая о своем замечательном лучшем друге хоббите-Денисе Абрамове. простите за пафос и литературщину. само "выперло". Думаю Денис меня за это уже простил, - он же все видит.



"Чтобы человек был гармонич-
 2011. Не только в худом виде, но и в
 образован, талантлив, но и ин-
 тель, красив, воспитан."

ПОЗВАЛЬНЫЙ

ЛИСТ

Брамову Фенису
 за успехи в танцеваль-
 ных занятиях, за ак-
 тивное участие в танце-
 вальных вечерах и конкурсе
 балльных танцев.



Лето 1980 г. н/л "Фрегат"
 нар. н/л. -
 ст. н. в. - *[Signature]*

FAST FOOD FREAK

I come to fast food like to my home
 How nice around me...
 ...how very pretty

Around here people
 Eatin' and spittin'
 The food is fast and thoughts are sweet

And our stomachs fly open
 Towards the food we hope it's graceful

The pork the ketchup & the oats
 And our happiness is tasteful

I keep enjoying myself food in my brain
 I keep on eatin' I've got no pain
 In quiet silence I sit for hours without fear

I found myself the right direction
 And my religion is digestion
 I believe in Coca-Cola
 And it's clear!!

(Chorus):
 I'm the king of fat
 And love food to destruction
 I'm always on the top
 And full of best production
 And there is nothing wrong
 I can sit there for ages
 I'm not concealing
 The real nature of myself

I've got no strength to stop
 I can't get enough
 Cause when I'm eatin' I'm dumb and deaf
 I'm becoming something greasy and I fell so good

Oh pretty world inside my plate
 The world of "fake" that I have made
 Now I'm what I eat so welcome to FAST FOOD!

(Chorus)
 And there is nothing wrong
 I can sit there for ages
 I'm not concealing
 The real nature of myself

С Топом я познакомился в МюзикШоке (он там работал) где-то в середине девяностых, где я покупал и заказывал “компактные диски”, как называл их темнокожий продавец-консультант Жан-Жак. Затем навевались друг к другу в гости, смотрели фильмы, он мне переустанавливал “систему”. Строго говоря, я знал его не так уж близко, мы с ним не пили по-серьёзному и не тусовались, за исключением одного вечера в Рэд Клубе. Жанр нашего с ним общения можно определить как беседы “за чашкой пива” о разных вещах. Были и тяжёлые для него времена, когда он жил у меня периодически. Но даже тогда всё было подчёркнуто классично, даже академично. Если и были разговоры “за жизнь”, то с анестезией самоиронии и сугубо писательской рефлексии. Политика – я помню, что он жил у меня в те дни, когда была история с захватом заложников на мюзикле Норд-Ост в Москве, ящик тогда смотрели безотрывно. Но в основном темы были – кино, музыка, литература. Можно ли сказать, что он формировал мои вкусы и взгляды? Отчасти, да. Однако, хотя влияние Топа было сильным, оно было не прямым, было похоже на свет Полярной Звезды. Денис был для меня не столько источником информации или каких-то глубоких суждений (хотя и это тоже), сколько неким “референтным объектом”, с которым периодически сверяешь интеллектуальные часы.

Копия

иллюстрация: КАТЕРИНА ЧЕРЕВКО



В одно прекрасное утро хоронили коллежского
ассессора Кирилла Ивановича Вавилонова,
умершего от двух болезней, столь распространенных в нашем
отечестве: от злой жены и алкоголизма.
А. П. Чехов "Оратор"

Я до сих пор не уяснил себе, и я не знаю; сентиментальность – это хорошо или, напротив, плохо. Вспоминая себя, я ощущаю именно сентиментальность. Не любовь, не жалость, не грусть, а именно сентиментальность, странное, старческое, непонятное мне самому чувство, лишенное всякого цвета и окраски. Да и не чувство вовсе, так, ощущение лишь. Оно, это ощущение, часто со мной, оно тихонько гладит меня, ласкает мой разум, мои нервы. Ласкает нежно, боясь задеть что-либо важное и возбуждающее.

Находясь в этом, сижу я подолгу, сижу длинными темными вечерами, разглядывая фигуры на обоях, фигуры, которых нет, слушая ту музыку, что касается барабанных перепонок лишь изнутри, зря не тревожа тишины моей маленькой, уснувшей комнаты. Сижу, полный по самые уши сентиментальности, не желая сопротивляться этому, не желая даже дышать и, понимая отчетливо, что я не более чем глупый ребенок, маленький идиот с ватными, безвольными руками. Единственное движение, что есть во мне теперь, это воспоминания, которые бесконечно чередуются. Одна картинка проникает в другую, одно, неумное в своей жадности воспоминание, подавляет другое, более слабое и блеклое.

Воспоминания неспособны остановиться и, неспособны принять определенную форму. Они просто бродят и бродят в моем сознании, ругаясь за право первородства. Каждое мало-мальски отображаемое памятью воспоминание мнит себя самым значимым в моей скудной, скромной биографии, и жаждет предстать предо мною первым, во всей своей зрелищности и красках.

Я стараюсь подчинить их, я хочу поставить их в шеренгу, более стройно. Я хочу полноты изображения, и, быть может, я добьюсь ее. Потом. Позже. Позже я вспомню все то, что хотел рассказать. Пока же не это занимает меня более всего. Скажу лишь, что я, возможно, был лучше, пытался быть лучше, чем такой же человек за стенкой, или на автобусной остановке, который вечно, всю жизнь свою без устали, тычет носом повсюду как слепой новорожденный котенок, быстро и оперативно перемещаясь от одного окна выдачи к другому, ловя на бегу запахи пищи и гениталий, тем самым, устанавливая и определяя ориентиры своего всепотребляющего бега.

С детства, пудель Артемон представлялся мне тем, кем он, в сущности, и являлся на самом деле, а именно – полным и законченным кретином. Когда он и эта девочка с голубыми волосами лезли к Буратино со своими снобистскими, тупыми нравоучениями, я ненавидел их. Я ненавидел их больше, чем хулиганов с Невского, хотя и сам был настоящим, гадким хулиганом, быть может, чуть более ранимой и нежной душой в отличие от остальных хулиганов, что конечно, было заслугой вовсе не моего, столь слабого и немощного, во всех отношениях, ума, а лишь следствием повышенной книжности моих родителей.

Я презирал и ненавидел эту тупую парочку, этих глупых кукол со смещенным мозжечком. Они так явно и так отвратительно пытались подражать своим угнетателям, своим учителям. Они так стремились стать кукловодами, они так хотели сами дергать за веревочки и подчинять, что меня просто трясло от омерзения. Пьеро я не воспринимал вовсе. Арлекин был занудным подхалимом, такой разноцветной помесью клоуна Карандаша и официанта. Остальных же кукол я не замечал. Они были просто бесцветными, полустертыми тенями на фоне общего идиотизма. Вообще, в целом, сказка эта нравилась мне, но страшно не нравился финал, тот самый, когда все кланяются со сцены, взявшись за руки, словно кучка несчастных японцев перед расстрелом. Во-первых, этот финал предельно театрален, а детям, как правило, скучна и претит театральность, за исключением разве что кукольной. Во-вторых, сам то я мечтал о совсем ином финале. Мне казалось, что, исходя из нормальной логики вещей, Буратино должен был бы убить их всех до единого и, вместе с папой Карло и Джузеппе, которые очень мне нравились, заграбастать себе главный приз – театр.

Засыпая, после очередного, потного мастурбационного безумия, в котором всенепременно фигурировала изнасилованная мною и Джузеппе Мальвина, я бредил своим родством с несчастным и безмерно зачуханным Буратино.

Сами понимаете, что подобный склад мышления и бесконечное отождествление себя с героями сказок и кинофильмов не могло не пройти бесследно для того неважного в умственном отношении подростка, коим я и был. В шестнадцать лет я ушел в запой. Этот чудесный запой, дававший мне единственную надежду на то, что

я не Пьеро, длиться и по сей день. Теперь то я точно знаю, что я не Пьеро. Но, как выяснилось, я и не Буратино. Я Джузеппе, мать его. Старый, скрюченный алкоголик с сизым носом. Ну, в любом случае, мы можем сказать, что данный выбор лучше, чем такая изысканная смерть как удушение галстуком, случайно попавшим в офисный вентилятор на рабочем столе. Потому что алкоголики, как правило, стараются не носить галстуков, за исключением, разве что собственных похорон. Весь этот дурной пассаж о Буратино поможет понять мне, да и любому читающему это, мое отношение ко всякому давлению на слабых людей. Давление на них приводит к тому, что люди эти, как правило, начинают уничтожать себя, пожирая изнутри в себе всякое сходство с теми, кто на них давит, а проще – начинают дико бухать. Хотя если честно, то это больше напоминает обычную отмазку алканоида.

Мой первый алкогольный опыт явил собой что там проводы в армию. До этого я не пил даже шампанского. Верные мои дворовые друзья (все как один старше меня) поведали мне на следующий день, что я выпил, не напрягаясь, три бутылки 777-го портвейна. После чего им пришлось, потупив глаза, заносить меня ко мне домой ногами вперед, и сдавать меня на руки моей маме. По слухам, я мычал. Мама моя, надо сказать, будучи довольно свободного склада ума и прогрессивных взглядов, не сказала ни слова. Мама моя знала, что мужчина, растущий под ее началом, все едино, рано или поздно предьявит родному дому подобное возвращение с невинной вечерней прогулки.

Утром я проснулся. Я уже все прочитал о похмелье, я знал и чувствовал его, несмотря на трезвое бытие. Я готовил себя к нему, сознавая, что в ближайшее время похмелье станет моим образом жизни и ответом на все упреки. Но реальность проехала по мне катком. И потом проехала еще раз. Омерзительно. Рядом с диваном стоял тазик, наполненный тем, чем обычно неопытные алкоголики наполняют его за ночь. Раскрыв пальцами глаза пошире, я обнаружил записку от мамы на моем секретере. Она гласила: “Ты сволочь. Я тебя наказываю, денег не оставляю. Выпей то, что порядочные люди пьют по утрам после подобных вещей”. И тут я увидел то, что порядочные люди пьют по утрам. Это потрясло меня до самых кончиков пальцев и навек заставило боготворить свою маму, бесконечно поражаясь ее парадоксальному строю мыслей и манере воспитания детей. В глубине секретера, меж книжек и глупых подростковых предметов, как – то, модельки машинок и пустые, разноцветные, иноземные банки, стояло три бутылки пива. Я счастлив, что именно мне досталась моя мама, что именно так она воспитывала меня. Я искренне надеюсь,

что часть ее нелогичности или, быть может, на-против абсолютной логики поведения досталась по наследству и мне. Другой же случай, сродни “порядочным людям” был чуть раньше, когда я впервые пробовал курить. Не в затылок, ясно.

Я курил в нашей кладовке, где моя милая мама меня и застукала. Она смотрела на меня долгую, долгую, вечную минуту. Мне было страшно как перед прививкой под лопатку. Вот он, конец – подумал я.

Потом она сказала, – Куришь. Ну что ж поде-лаешь, кури. Все мы курим. Если поймаю, убью. Конец цитаты.

Когда, в то жуткое утро, я опохмелился первый раз в своей жизни, мне было хорошо и грустно. Я чувствовал как Буратино медленно, маленькими неспешными шагами покидает меня. С каждым глотком небеса становились ближе. Они раскрыли свои объятия мне и я взлетал, ощущая свою, новую и еще непознанную разновидность блаженства. Буратино же оставался на Земле. Он глупо плакал и махал мне своей деревянной ручонкой на прощанье.

Простившись с носатым мальчиком, я на некоторое время был лишен смысла существования. Мечтательность моя куда-то улетучилась, цинизм уснул где-то нездоровым, беспокойным сном. Я бесконечно слонялся по бесконечным проходным дворам Невского, играл до одури в футбол и иногда пил. То есть друзья мои пили, а я же, памятуя о печальном опыте, временно не пил, готовя себя к серьезному пожизненному запою. Лучше бы я пил тогда и, быть может, занятое подобным образом время не пришлось бы тратить на всякую первую любовь. Естественно несчастную. Недалеко от меня, в соседней школе учился мой шибко продвинутый друг. Я посещал его почти каждый день. Он был влюблен в одну очень милую одно-классницу, которая постепенно купилась на мое бесконечное словоблудие и влюбилась в меня. Или подумала, что влюбилась. Я же, в свою очередь, втрескался по уши в ее подругу. Все кончилось, как и положено плохо. Своей любовью я насмерть достал девушку, в которую был влюблен, был ею проклят, мне настучали по голове ее друзья по ее же просьбе. Я страдал как конь. Страдание, однако, почему-то не помешало мне молниеносно и цинично связаться с ее подругой, которую я так и не смог полюбить. Я проклял свою любовь. Последствия не заставили себя ждать. Я неза-медлительно был проклят другом, после чего уже я проклял подругу друга, самого друга и стал ненавидеть всю их дерьмовую школу. Мне жаль нас всех, потому что на самом деле это было пре-красно. Особенно акт обретения половых на-выков. Я комично пытался лишиться девственности. Придя к подруге друга, я имел именно эту цель в голове. Чтобы преодолеть смущение, мы ис-

пользовали обычные детские приемы. То есть: пили чай до посинения, играли в “дурака”, рассматривали вместе какие-то бессмысленные фотографии, медленно сближа-ясь, сантиметр за сантиметром, по сантиметру в час. Я очевидно трусил. Она, очевидно тоже. Сейчас то я знал бы, что делать и не тянул бы резину. Тот же день я не забуду никогда, даже при полной амнезии и отсутствии обоих полушарий головного мозга. Произошел полный и закономерный кошмар. Ничего у нас не вышло, точнее у меня не вышло. Я был в панике, истекал холодным потом и хотел улететь на Луну прямо с этой кровати. Я импо-тент, я урод, мой член – враг мне и вот она, расплата за все, решил я. Ох, кто бы сказал мне в тот миг, что это обычное дело, когда люди столь неопытны, сексу-ально наивны и лет им всего по пятнадцать. Возмож-но, это спасло бы меня от той половой порядочности, которой мучаюсь я и по сей день, будучи не в состоя-нии желать иных женщин, кроме любимых или предельно вульгарных. Но как же их мало, мать его.

Нельзя забыть мрачный запах какого-то дезодоранта присутствовавший там. Меня тошнит до сих пор. Запах советского, яблочного, предельно омерзительного дезо-доранта. Это запах всей моей жизни.

Зачем я все это делал, я не знаю. Я был глуп и пуст. Мне верили, а я всех обманывал. Вернее, я хотел сделать нашу жизнь красивее и потому врал красиво, без всякой личной заинтересованности и пользы. Это, наверное, первая в моей жизни правдивая история. От и до. Потеря друзей и ощущения реальности. Жизнь каза-лась вечной и веселой, а любовь последней и смертель-ной.

Твой друг звонит тебе и говорит:

-- Пошли гулять, жрать мороженое, играть в футбол, пошли, пошли хоть куда-нибудь. Погода офигительная.

И ты знаешь – на дворе воскресенье, никакой школы, жизнь прекрасна, если не получать пиздюлей от гопни-ков.

Но ты говоришь ему:

-- Не хочу. Не пойду.

-- Ну, ты че, ей-богу, совсем дурак? Выходной же! -- он начинает злиться, он начинает заботиться о тебе. Ведь он же – друг, а не кто-то.

Друг твой начинает обижаться; потом, зная причины твоего нежелания, начинает потешаться над тобой. И он прав. Но ты посылаешь его и бросаешь трубку, ощущая себя глупцом и предателем дружбы.

И твоя трагедия так смертельно нелепа и обыкно-венна. Для любого. Но не для тебя. За это я люблю любовь; она насилует нас и не оставляет нас ни на секунду. Она требует нашего одиночества, желая быть единственной нашей компанией. Из этого всегда что-нибудь да происходит. Что-нибудь меняется в тебе безвозвратно. И вот тогда то я и стал Джузеппе Сизый Нос.

Бесконечное ворчание, злобствование и критицизм в последней, клинической стадии стали для меня нормой и утешением. Я и сейчас ненавижу общие умонастроения и мне все едино, согласен я с ними или нет. Общность

должна быть локальна и тесна как старые трусы. Максимум на пятерых... Трусы на пятерых, а? Звучит сомнительно.

Я повесил трубку и тут последняя ниточка, связывавшая меня с моими сверстниками, натянулась донельзя, потом тихонько звякнула и оборвалась на хуй. Было ли это чем-то особенным? Да ну куда там! Я ведь всегда мнил себя чудом во плоти, особенным юношей, взирающим с высоты своего безмерного интеллекта на копошащихся внизу сверстников – недоумков. Ну, как же, как же, ведь я, в отличие от них, знал кто такой Ницше. Что за идиот я был! Впрочем, и остался.

Сейчас мне противно, мне тошно, но и весело в тоже время. Вообще-то речь пока идет не об этих временах. Все это было чуть позже того момента, который интересен наиболее мне самому. Я тщусь понять, как я стал тем, кем я являюсь сейчас. Где произошло то, роковое отклонение от нормального подросткового развития. Где я начал ломать свою жизнь, сделав ее одновременно столь несчастной, но и столь наполненно-прекрасной. Ведь через мою жизнь прошло безумное количество неординарных друзей. Да и продолжает проходить. Все они чем-то да уникальны. В них нет места затхлой серости. Даже отрицательные их качества значительно чище и интереснее, чем такие же, воплощенные в среднестатистическом человеке. Лишь одно угнетает меня. Они всегда уходят. Они становятся скучны мне, а я им. Придя ко мне однажды, они постепенно находят друг друга, знакомятся друг с другом и исчезают из моей жизни. Нет недалеко, всего лишь на расстоянии вытянутой руки, но это уже не близость. Иногда меня утешает то, что напрямую или опосредованно большинство из моих знакомых знали когда-то лишь меня. В процессе общения они обретали других моих бывших друзей и теперь многим из них есть, чем заняться. Это глупое, бесполезное знание, но оно бывает приятным. Оно обозначает некую мою востребованность. А хотя бы востребованность как сводника меж людьми, что ж с того?

Быть моим другом очень тяжело, ведь я Джу-зеппе, я желчен донельзя и совсем немногие, а, пожалуй, что и никто пока не смог долго мириться с тем, каким я становлюсь иногда, когда все, что есть во мне прекрасного (знает ли кто об этом, чувствовал ли это хоть кто-нибудь, кроме женщин?) уступает свое место той злобной на-смешливости способной разрушить любые хорошие чувства в мой адрес. Но я знаю, в чем дело. Я вечно жду от друзей тех же чувств, какие испытываю по отношению к ним. И когда я их не получаю, я начинаю злиться. Люди, суть, стеснительны как девственницы. Даже и имея нечто похожее в своей душе, они будут прятать это до конца, вечно демонстрируя аккуратное, стерилизованное участие в дружбе, или того хуже, бестактность,

да непонимание того, чего от них жду я. Чего боятся они, кто воспитал в них подобную скрытность? Где-то там, далеко, в пятнадцать лет, начитавшись книг и обретя наивно-романтическое мировосприятие я решил вдруг, что дружба чиста и проста. Это заблуждение, в которое я верю и сейчас и, наверное, буду верить, потому что хочу верить. Иначе жизнь моя станет совсем опустошенной. Но нет, в глубине души я знаю правду о том, что дружба столь же сложная материя, как и любовь, она требует бесконечных условностей и обрядов. Очень жаль.

Одиночество и вечное ожидание поддержки во времена сумасшедшей тяжести на сердце, сопряженной с депрессивным состоянием начинает угнетать меня. Я начинаю мучаться, мне плохо сейчас как никогда не было в моей жизни. Еще никогда жизнь моя не заставляла меня плакать почти ежедневно. Я вообще никогда почти не плакал. Я чувствую то мгновение, когда все станет необратимо и злоба пропитает меня насквозь. Ненависть моя к бестактности друзей станет абсолютной. Я начну презирать их. Я не хочу этого. Момент этот близок. Он здесь уже. Лишившись любви я не нашел никакой замены ей. Любовь укрепляла меня и компенсировала недостаток дружбы. Не думаю, что лишь я один виной всему. Возможно, я не там искал и продолжаю искать. Возможно, люди окружающие, и окружавшие меня доселе, являются в чистом виде хладнокровными рептилиями. Их желания мертвы, а глаза обращены лишь внутрь собственных желаний. Я же, по наивности своей ввел себя сам в длинную цепь заблуждений относительно их исключительности и духовного родства со мной. Все возможно. Мне известно сейчас столько же, сколько и в пору детства. То есть, ничего.

Как я и говорил уже, моя веселая светлая юность прервалась в один прекрасный миг. Разочаровавшись в сверстниках и школьных друзьях, я нашел себе других друзей – алкоголь и музыку. Музыка, конечно же, присутствовала всегда в нашей квартире, так как очередной отчим мой, вернее, самый постоянный, отец моей сестры, который то исчезал из нашей жизни, то вновь появлялся; так вот, он имел выход на любую практически музыку. Уж не знаю, как и что, но всякие там запрещенные группы он записывал мне легко. А это, надо сказать, была проблема из проблем. Я все больше и больше погружался в музыку и все, связанное с ней. Сайгоны, Гастриты и Рок-клубы стали моим вторым домом. Гастрит, кафе-автомат на углу Невского и Рубинштейна, вообще находился в моем доме внизу. Так что далеко ходить было не нужно. Меня всегда при-

тягивали все эти странные, угрюмые люди которых наблюдал я с младых ногтей каждый божий день из окна, либо по дороге в школу. Они нравились мне и одновременно пугали, ведь учителя наши тоже наблюдали их. Они вбивали нам в голову, что это чуть ли не бесы какие-то. Антисоветчики минимум, а, вообще, фашисты. Короче, страшные люди. Тогда для меня самое страшное слово было “фашист”. Страшнее пидора. Но сознание мое всегда было кривым и тянуло меня к этим людям с каждым годом все сильнее и сильнее и, наконец, притянуло таки. Мне было индифферентно, кто они там есть на самом деле. Главное, что они не были похожи на моих хороших, но убогих друзей и сверстников. И, потом, музыка. А все эти парни были напрямую связаны с музыкой. Некоторые из них даже делали ее самостоятельно. Очарованное и опутанное новыми увлечениями отношение мое к окружающим и миру стало меняться. Мой моральный облик стремительно изнашивался, становясь хрупким, как юная балерина. Не самые благие изменения, как понимаю я сейчас. Визуально я тоже стал меняться, пытаюсь соответствовать своему новому увлечению. Я ненавидел женщин. Я ненавидел обывателей. Я терял время.

Мама моя тоже ненавидела обывателей и женщин, но, в особенности всех тех девушек, на которых я западал. Не знаю уж с чем это связано, но это было так. Она не мешала мне, не лезла с нравоучениями и запретами; просто ненавидела тихо и все тут. Наверно, у нее были на то основания, и опыт ее нескольких замужеств подсказывал ей, что я не готов еще к серьезным чувствам. Так оно и вышло. Спустия некоторое время, я и мои друзья – Вова и Дима Кактус без всякого зазрения совести, исходя лишь из одного банального, человеческого и столь простого желания выпить, обокрали некогда любимую мной девушку. Надо сказать, любовь была практически роковой. Но то было за три года до этого. Именно по ее просьбе я и схлопотал тогда по башке. Может, все что я совершил, было актом подознательной мести за поруганные некогда чувства, а не диким желанием выпить? Но я говорю себе, не ври парень. Выпить, бля, выпить и только выпить. Все было просто. Мы зашли к ней попросить три рубля. Похмелье, еби его мать, заставило меня забыть обиды и унижения, перенесенные ради былой любви. Диму и Вову я предварительно спрятал на лестнице, дабы не пугали они своим безумным, мрачным видом культурную, богатую девушку. Ведь мы же были панки как-никак и, выглядя, надо сказать, достаточно неадекватно. Я позвонил. Открыла Маша.

-- Заходи, -- сказала она. Я вежливо отказался, ссылаясь на какие-то запрательно важные дела. Что-то там о музыке и концертах. На самом деле я просто хотел получить свои три ру-

бля, скорей слинять и опохмелиться. Родителей не было дома.

-- Слушай, Маша. Тут такое дело. Ты же знаешь, что мама моя переехала в другой город. Я живу у друзей и все такое. Денег нет. Проходил тут случайно мимо... Мне очень неудобно, но прям не знаю, что и делать. Очень хочется выпить кофе и съесть пирожок. (Вова, стоящий внизу, наверное в этот момент подавился со смеху тем самым пирожком, который он благополучно грыз).

-- Пойдем, попьешь кофе у меня, -- сказала Маша, испытывая явную неловкость при виде голодного человека, который когда-то дарил ей цветы и боготворил ее, -- Я тебя накормлю.

У меня начиналась легкая истерика. Кофе я хотел так же сильно, как выебать носорога. Пирожок я только что съел. Но, мне все-таки удалось, изобразив скромность и застенчивость, кое-как уклониться от предложения. Мы стояли и молчали. И вот тогда-то я и перестал ее замечать. Я смотрел мимо нее. Я смотрел на то, что сулило мне хорошо проведенный вечер. Смертный приговор моему похмелью. В прихожей висел кожаный пиджак. Мне стало дурно. Я видел не пиджак, о нет. Я видел, минимум, пятьдесят рублей. Преломляясь прекрасным образом в лучах света, сверкая и переливаясь всеми цветами радуги, мне грезилась чудные пивные бутылочки, воплощенные в этом кожаном пиджаке. Я видел бога и рай на Земле. Я терял сознание, понимая, что пиджак то не мой. Но, все сложилось как нельзя лучше. Бог не оставил меня. Девушка, которую я когда-то так нежно любил, исчезла в поисках трех рублей. Длинный темный коридор поглотил ее, и пиджак стал моим. Я молниеносно передал его Вове, стоящему этажом ниже. Я кричал, – Вова, бля, быстрее прячь эту хуйню. Сейчас мы ее пропьем.

Трясаясь как припадочный идиотик я вернулся к дверям.

-- Что с тобой? -- спросила сердобольная Маша, видя мою неестественную трясучку и странную бледность, -- Может, все-таки зайдешь? -- она передала мне три рубля.

Я, тонко намекая на длительное отсутствие здоровой пищи, неустроенный быт, остатки былой любви к ней и сопутствующие этой самой любви расстройства в головном мозге, прикинулся благородно воспитанным юношей. Я стал спешно прощаться, бормоча себе под нос какие-то слова благодарности и желая лишь одного, чтобы Маша не заметила пропажи прямо сейчас. На то, что будет потом мне было глубоко наплевать, ведь жизнь моя тогдашняя была всего лишь одним днем, что проживал я каждый день.

Маша смотрела на меня с жалостью... Дура.

Я состроил нечто вроде печальных, навсегда потухших от несчастной любви глаз и тихо так, с отчетливой грустью попрощался.

В те редкие моменты искренности с самим собой, я пытаюсь лгать себе. Я лгу всем. Я умею выдумать миллион причин, большая часть которых будет иметь околорифмический уклон. Все причины эти будут во имя

оправдания моего пьянства. Несчастливая любовь – абсолютно идеальный ответ. Все начинают напрягаться и сочувствовать. Кроме наиболее тупых и бестактных. Но имя данным причинам – ложь. Ведь я же знаю, на самом деле, как прост ответ на вопрос “Зачем я пью? Я просто банальнейший алкоголик, близкий родственник почти всему населению нашей прекрасной родины”. А если и не алкоголик до сих пор (сомнительная ремарка), то, человек, любящий и ценящий питье как такое. И все тут. Я еще знаю таких же умников.

Так вот, схватив в охапку пиджачок, прижав его как самую великую ценность к тщедушной (на тот момент) груди я, и верные мои друзья-алкаши бодрыми шажками пошли в сторону Владимирской площади. Там, как известно, в те времена обретались старые, гнусные, чернющие как смоль цыганки. Они скупали все подряд, вплоть до пустых баночек из-под шампуня. Через десять минут утомительной торговли, меня начало всерьез колотить. Бодун все-таки. Слушая бесконечно цокающую языком цыганку, слушая ее безумные бредни о каком-то там “подкладе” и “износе”, я заорал дурным голосом:

-- Да забирай ты его, в пизду, за сколько хочешь.

За пиджак, в итоге, мы, к нашему удивлению выручили цельных восемьдесят рубликов. Мы пропили их без напряжения за два дня, купив ящик сухого вина на углу Жуковского и Восстания. Уже начиналась борьба с пьянством, и очередь была длинной в БАМ. Но что значит БАМ для такого человека как Дима Кактус. Он мог купить все что угодно, невзирая на всяческие преграды. Закономерный итог. Я поимел уголовное дело и чуть не сел. Я сидел в КПЗ трое суток, подписал чисто-сердечное, друзей не сдал как герой, хотя мне пару раз стучали вполне прилично по голове. И искали их конечно же не из-за пиджака, а лишь по причине нашего асоциального, политизированного и, по их мнению, антисоветского статуса. Да-да, тогда за это сажали на раз. Лишь дай повод. А нам было глубоко плевать на них, на себя и на всю эту обреченную страну. Мы конечно ненавидели всех этих комсомольцев-коммунистов, строили планы побегов, терактов и прочая, прочая, но никоим образом не воплощали это в жизнь. Разве что внешним видом. Мы просто бухали как угорелые каждый день. Наверное, это и была наша форма протеста. Хотя тогда получается, что практически все половозрелые люди СССР перманентно находились в состоянии глубокого ежедневного протеста.

Бля, ну как же это было смешно все. Наверное, только я лишь один, пропитанный дешевым пионерским идеализмом, верил в то, что окружающий меня локальный мир серьезен и тверд. Что люди, или скорей дети, что стояли со мной в бесконечных, длинной в экватор очередях за

алкоголем, серьезно относятся к этому способу существования под названием “Мы, на хуй, не такие как все”. Нет, были, конечно, такие же, как и я, например Дима по кличке Мертвый, один из самых честных людей, которых я знал тогда и с которыми старался не расставаться ни днем, ни ночью. Кто-то в моем детстве нажал на какие-то мудацкие кнопки, и меня бесповоротно замкнуло на людей. Я стал, как Чикатило охотиться на них, выискивая близких мне по ощущениям, готовых к бесконечному, пьяному глумлению над душной серятиной вокруг, готовых принять без обид мой полоумный, идиотский взгляд на юмор, и не шарахающихся, как испуганные кони от моей чрезмерной открытости. Я находил то одних, то других, повышая планку желаемой маргинальности у объектов поиска от раза к разу все выше и выше.

Когда мне исполнилось шестнадцать, у моей мамы что-то там не срослось в очередной раз с моим очередным отчимом и она решила уехать к чертям из города. Плюс, у меня были серьезные проблемы с милицией. Бесконечные приводы за пьянство, внешний вид, стычки с комсомольскими отрядами помощи милиции, которые тупо пиздили нас и изымали все ценное. Или мы их пиздили и изымали все ценное. Как получалось. С той поры я особенно ненавижу Бонч и Герцена. Их комсомольские бригады были самые ебнутые на голову. Короче, какой-то мамин знакомый из ГэбЭ поведал ей по дружбе (уж не знаю по какой), что мне скоро будет полный пиздец.

Так, в один прекрасный день я был поставлен перед железным и жутким фактом, а именно – наше семейство, включая меня, сестру и маму уезжает с милого Невского проспекта в Выборг. Я очень любил свою маму, но послал ее на хуй. В 1985 году, в шестнадцать лет я остался один, посреди пустого для меня Питера в компании нескольких новообетенных друзей, таких же поихуистично настроенных уродцев, как и я сам. Мне оставалось только пить. Что я и делал. Наверное, все ж таки мы были (или старались быть) панками. С трудом понимая изначально, что это такое, мы имели перед глазами пример первого панк – поколения нашего города. Для нас это были самые крутые чуваки на Земле после Сид Вишеса – Свины, Панама, Крыса, Юра Скандал, Вилли, Алекс Оголтелый. Всех не упомянешь. О них слагались легенды, почти что героические эпосы с все-непременными зверьми-гэбэшниками, ментами и обязательным – “А он в говно бухой, значит...”. К сожалению, при более тесном знакомстве, многие из них разочаровали нас, так как были просто

сильно пьющими, мягкими парнями, которые часто пытались самоутвердиться за наш счет. Как вы понимаете, все неофиты всегда, во все времена обязаны платить за привилегию быть допущенными к телу или телам. Это не было условием, этот момент не озвучивался, никто не требовал денег или прочих благ, но практиковалось по умолчанию, как обязателька. Мы принимали это. Нам было вовсе и не в падлу, а скорей даже за счастье напоить старших братьев. В будущем, став малость покруче, я прекрасно усвоил всю приятность и удобство этого неписаного правила. Я цинично пользовался им, пока мне в конец не надоело думать, что я круче кого бы то ни было.

В любом случае, люди эти были во стократ интереснее и человечней всех моих предыдущих друзей, всех моих одноклассников, и всех обитателей дворов и проходных Невского, вместе взятых. И, надо сказать, что в целом, наши старшие коллеги по распитию портвейна Агдам были, на самом деле, совершенно интеллигентными, приятными людьми из вполне состоятельных семей. Или же, что было более распространено, семьи породившие первых панков нашего города несли на горбу тяжкое культурное бремя из некоторого количества подлинников какого-нибудь долбанного Коровина, связки дипломов различных Мух, Реп, Щук, а также обязательного поклонения Александру Исаевичу и Елене Боннэр с супругом. Соответственно, дети умели читать Достоевского в пять, Хемингуэя и самиздат в семь, а прикидываться Рихтером в десять. Например, у Свины, если я ничего не путаю, папа был каким-то серьезным балетным человеком. Он эмигрировал, оставив Андрея на попечение мамы, которая бухала вместе с сыном и чувствовала себя абсолютно своей на этих панк-рок-шоу. Еще не известно, кто был большим панк-рокером, Андрей Панов, или же его мамаша. Их квартира была открыта практически для всех. Взгляд хозяев не задерживался на лицах входивших. Минута их, взгляд интересовался содержимым сумок и пакетов. Пароль для входа был один, и его знали все – портвейн. Но, не смотря на весь мой ироничный тон, я продолжал уважать этих людей за их выбор, так как требовалась либо нереальная смелость, либо нереальный кретинизм, чтобы вести подобную жизнь в то время. Не так уж страшны были все эти охуевшие менты, вернувшиеся из Афгана, но страшны были обычные горожане.

Для меня самой жуткой дорогой в моей жизни, до сих пор является путь от дома на углу Рубинштейна и Невского, где я жил, до метро Маяковская. Всего то ничего вроде бы, одна сраная остановка. Небольшое дефиле по оживленному Невскому проспекту. Но то была страшная остановка. Красивая лестница в небо. Обычно я маскировался, но иногда маскировка не спаса-

ла. Приходилось много и, зачастую безуспешно, бегать.

У меня был друг Сережа, по кличке Рыба, его потом зарубили топором. Так вот, этот Рыба поставил абсолютный рекорд по получению числа пиздюлей на квадратный метр. Этот болван (прости, покойник), однажды решился на акцию протеста. А какая может быть акция протеста у человека, который открыл для себя Секс Пистолз в аккурат после группы Смоки? А? Правильно. Он замастырил себе футболку со свастикой как у Вишеса. Как и Сид, фашистом он не был, просто был долбоебом. Хорошим парнем, но долбоебом. Жил он на Пушкинской, напротив всем известного дома номер десять. Стратегической задачей для него являлся протестный проход с этой свастикой от собственного бунгало до метро Маяковская. Путь, мощный гражданской позицией, был короток. Сигарету не успеешь выкурить. А именно – проходной двор его дома (метров 20), смежный проходной двор номер четыре по улице Марата (метров 50), и апофеозный переход (Суворов, Бля, и Альпы) через улицу Марата (метров 10) к, собственно, самому метро. Это заняло у него около недели.

Он получил пизды шесть раз на маршруте и еще раз уже в больнице. Сначала добропорядочные женщины долго отоваривали его авоськами с картошкой и прочей хозяйственной хуйней прямо у его собственного подъезда. Уйдя от них, он был настигнут добропорядочными мужчинами с разводными ключами наперевес, которые ради такого дела побросали ремонт своих “запорочцев” и “копеек”. Чудом вырвавшись из рук народного гнева, с окровавленной головой, не пробежав и двух десятков метров, он попал на глаза нескольким молодым, безусым добропорядочным курсантам-ментам, кои и стали его метелить, ожидая прибытия старших товарищей на “козелке”. Старшие, естественно добропорядочные, но уже с усами, товарищи получили с рук на руки тельце Рыбы, закинули его в “козел”, где и еще раз основательно накатили Сереже. Потом, провезя его примерно метров сто до пикета на Невском, именуемом в народе ласково Яблонька, они сдали Рыбу другим, счастливым и усатым ментам, естественно весьма и весьма добропорядочным. И те, всем отделением, отрывались на нем, в перерывах между чаем и водкой, а потом транспортировали его в мое любимое, пятое отделение милиции, напротив Московского вокзала. Там все продолжилось при большом стечении участников и болельщиков. Сфотографировав на прощанье, дознаватели сдали его в больницу. В больнице он получил напоследок от санитаров в приемном покое, по выходу из больницы никогда больше уже не носил футболку со свастикой и вообще, далеко от родной Пушкинской улицы не отходил, так как нас, нескольких жи-

вущих в районе Невского проспекта панков, стали значительно активнее с тех пор.

Я ходил, как на работу, к ментам, где меня постоянно проверяли на причастность к каким-то странным преступлениям, носящим явный антисоветский характер. Преступления типа демонстративной кражи семечек на рынке или угона мопеда у ветерана войны, сопровождаемого попутным изнасилованием и убийством одного ветерана. Иногда, правда, речь шла даже и о взрывах ментовских машин. Подобные известия несколько окрыляли меня. Я переставал их бояться. Меня, по поводу Рыбиной выходки, трижды таскали в специальный пикет на Дмитровском переулке и спецотдел на Заслонова, занимавшийся неадекватной молодежью. Следователь совал мне в нос Рыбины фотографии после расправы над ним и орал: -- Где твой крест, мразь фашистская, где твой крест?

Он имел в виду свастику. Рыбины фотографии походили на кинопробы к линчевскому Человеку-слону. Смотреть было неприятно, но весело. Вообще, их осведомленность просто потрясала. У меня как-то появился новый старший товарищ по имени Миша Комаров. Он уже был наглухо засвечен. Через неделю после знакомства меня в очередной, три тысячи первый раз повинтили на Дмитровский вместе с ним. Опер спросил меня, при каких обстоятельствах мы познакомились. А Мишу в свое время выгнали из блатного Макаровского училища, дававшего возможность посещать по окончании заморские кущи и иные берега. Я со страху наврал, что познакомились мы через брата моего одноклассника. Посмотрев в блокнот, он назвал мне фамилию одноклассника, у которого брат действительно учился в Макаровке.

Кстати, в тот, а может и иной день на Дмитровском, я наблюдал интереснейшую картину. Туда привели некоего очень известного хиппана по имени, кажется, Коля Таллиннский, неопределенного возраста от тридцати пяти, примерно, до ста лет и явно угробившего немалую часть своей жизни во славу всемогущего Джа. Ну так вот, сидел он себе, сидел, а потом как начал орать про права человека, конвенции, Хельсинские соглашения. В общем, дал легкого Сахарова. А там, в отделении стояли скамейки из физкультурного зала, такие очень длинные, узкие и имевшие вместо ножек металлические треугольники со сторонами примерно в тридцать сантиметров. Когда менты двинулись усмирять этого самого Таллиннского, он залез под скамейку и умудрился втиснуть свои тщедушные мощи в этот треугольник по пояс, не переставая при этом орать истошно о правах человека. Вынуть его оттуда никак не представлялось возможным. Я думаю, он, и сам бы не вылез при желании. И тогда менты взяли его вместе со всей этой трехметровой

скамейкой и кое-как, бочком, бочком понесли во двор. Выглядело все ужасно смешно, тем более, что хиппи я не любил и рад был бесплатному цирку. Но, вдруг, крики во дворе очень резко прекратились, и слышно было только, как какой-то мент монотонно повторяет:

-- Сука, сука, сука...

Мне стало совсем не смешно. Я понял, что я то уж точно в скамейку не полез. Поклевав мне мозг еще пару часов, Юрмех, самый страшный для нас опер, меня отпустил, но ни скамейки, ни Таллиннского я больше не видел. Во дворе тоже было чисто.

Хорошо бы переправить нынешних скинов в те святые, девственно-чистые, времена.

Я пытался догнать то, что ускользало от меня все детство, а, именно, способность вести себя свободно, по-хамски, не прислушиваясь ни к чьему мнению. О, я в совершенстве овладел этим искусством. Нынче же я пытаюсь всеми силами избавиться от своего великого дара – умения двумя словами смертельно обидеть человека. Не выходит. Я кривляюсь как шут, издеваясь над святыми для многих людей вещами. Я потешаюсь над ними без тени жалости или сострадания. Но одна мысль, как тупое сверло долбит мой неразвитый умишко “А зачем, зачем ты все это делаешь, ведь ты любишь этих людей, некоторые из них несут в себе сами основы твоего существования. Подчас они – это все, что у тебя есть. Зачем?”

Нет ответа, нет даже намека на ответ; никакая, самая изощренная, путаная демагогия, не позволит мне обмануть самого себя и сочинить оправдание. Ведь ответа нет. По крайней мере, мне он не известен.

Я стоял на Невском и ожидал замечательную девушку, с которой познакомился на очередной незатейливой попойке. Вернее, если быть честным, то девушек этих мы банально сняли. Но они оказались такие хорошие, что никто никого не стал трахать. Просто весело выпили, побеседовали о бренности сущего, то есть, как говорят “за жизнь”, и пошли спать. Но апу fuckin’ rogn. Но сейчас то в моей хитрой башке был совсем иной план. Предельно простой и пошлый. А именно, выебать несчастную девицу и загаситься от нее. Она мне очень понравилась. Когда мы выпивали, она сказала мне, что мечтает и обязательно станет проституткой. Я обалдел. По тем временам это напоминало признание в измене родине. И потом она была незаслуженно для меня красива. Столь красива, что когда она согласилась со мной встретиться, я не поверил и начал

мелко волноваться. Одно дело пить в компании, а другое – все эти бредовые свидания под луной. Предыдущие мои свидания кончались молниеносно. Либо девушки удирали под любым предлогом, либо удирал я. Бывал еще третий, редкий довольно вариант, когда мы нажирались где-нибудь на скамейке в парке, благополучно избегая сексуальных последствий. Но то были исключительные девушки. Такие сейчас почти повывелись, как дикие животные типа зубров или китов.

Она оставила мне телефон, сказав, что я могу звонить когда угодно. Я не принял это всерьез, хорошо помня все свои любовные истории. Либо любил я, либо любил меня (к сожалению, значительно реже). Обоюдной моя любовь и не пыталась стать. Она вертелась как уж на сковородке, пытаясь усидеть на двух стульях сразу, а именно, сохранив собственное достоинство либо, в зависимости от ситуации, добиться взаимности. Либо отмазаться от взаимности. Но, через пару-тройку дней мама моя собралась уехать до поздней ночи, если не до утра. Обстоятельство, напрямую зовущее девушку в ваш дом. Я решился позвонить. Нужно было видеть, как я метался вокруг телефона в прихожей. Я подходил к нему и отпрыгивал как лисица от оцетинившегося ежа. Я заучивал фразы, которые должен был произнести. Я репетировал, придавая своему голосу чуждую ему мужественность и басовитость. И, наконец, решился.

Ее позвали к телефону. Естественно, как и положено, все слова вылетели у меня из головы со скоростью фотонного звездолета. Кое-как, маяля что-то и, периодически, сбиваясь на некое полухамство я доковылял до сути. Она согласилась без проблем.

-- Правда? -- заорал я, -- Ты придешь?

-- Зачем орать? – деловито спросила она, -- Приду, а почему нет?

Какой же лох я был. Короче, я волновался, хотел уже не идти, но пошел таки. Цветов, ясно, не было у меня. Была бутылка водки и десять рублей.

Угол Невского и Марата, надо-таки сказать, довольно неприятное место. Там много людей, они снуют как головастики туда-сюда, толкаются и, вообще, живут полнокровной жизнью. Там я и топтался. Она опоздала всего на пару минут. Подошла и поцеловала в щеку. Я зарделся как помидор и с испуга сказал:

-- Не хуй меня целовать.

Девушка не убежала тут же, и я начал влюбляться столь отчетливо, что вспотел.

Конечно, мне нужна была девушка. Я их побаивался и, чтобы скрыть неловкость, смущение, а зачастую и страх, позволял себе неприкрытое хамство и фамильярность по отношению к девушкам. И, подчиняясь принятым в нашей среде правилам, демонстративно клал на всех женщин

и кричал о том, что никакой любви нет, а есть лишь эпизодически нужный нам процесс спаривания. Мне кажется, что я не верил в это на самом деле, а лишь повторял чужие слова за кем-то, кто, в свою очередь, также повторял чьи-то. А там, далеко внутри своей неокрепшей, хилой душонки мечтал втихаря о хорошей, милой девушке, что развеет мою вечную и глупую тоску. Тоску неизвестно о чем. Она нужна была мне как воздух. Но еще больше в ней нуждались мои обезумевшие, озверевшие гормоны. Гормоны стонали, пищали и плакали. Они нещадно голодали или, нередко, потребляли невкусную, пресную, а то и вовсе некачественную пищу. А их нужно было кормить часто и до отвала. И, по возможности, вкусной и здоровой пищей.

Я начал влюбляться, параллельно ощущая нарастающий ужас и панику. Я понимал, что шутки кончились и, если все пойдет удачно, мне придется с данной девицей (назову ее В.) существовать. Я, конечно, хотел ей понравиться, но не знал с чего начать. А посему стал грязно ругаться матом, поносить окружающую действительность и, вообще, изображать из себя некую необычность. В. была не самой умной девушкой на Земле, как выяснилось впоследствии. Но, насколько же бывают женщины умнее мужчин, когда им что-то нужно. Она просто слушала меня и старалась помалкивать. Я же разошелся не на шутку и орал без устали что-то о ментах, музыке, крутых друзьях-знакомых, проклятых коммунагах и проч. Проклятый Буратино, веселая, хвастливая деревяшка опять высунула веселый, дерзкий нос и заставила плясать под свою кретинскую дудку-ключик. Меня распирало, я рассказывал чудовищные в своей безграничной лжи истории, которые были призваны изобразить меня не Буратиной, а Буратиной из Буратин. Такой деревяшкой, коих свет не видывал, крепче стали, нежнее шелка, умнее Маркса с Энгельсом и Мони Канта, вместе взятых. Иногда мне удавалось зафиксировать, поймать ускользающий от меня взгляд ее коричневых, блестящих глаз, в которых как искорка носилась взад-вперед легкая насмешка. Тогда я не мог осознать простого таинства этой улыбки. Мне казалось, что надо мной смеются, так как я несу полную чушь, или, вообще, смешон сам по себе. Сейчас то я знаю, в чем дело. Ведь она была девушкой. Помысли ее были просты, естественны и шли из глубины женской ее сути. Ей было все равно крут я или нет. Она шла со мной и тихо дожидалась своего времени. И тут я резко, впервые в своей жизни, почувствовал, осознал и поверил, что действительно нравлюсь. Данное открытие напугало меня как сурка и вызвало невнятную, синкопированную дрожь в коленках. Ведь я был тотально трезв, не забывайте об этом, и это было реальное свидание, т.е. когда

встречаются без цели, только, чтобы встретиться. А цель выдумывают уже потом, постфактум. Ни тебе кина, ни мороженого, ни дебильных каруселей, а только бутылка водки. Да и холодно было. Страх нарастал. Пред глазами замаячило подвенечное платье, тут же превращаясь в погребальный саван с фатой.

-- Ох, -- застонал я, когда мы свернули зачем-то на Стремянную улицу.

-- Что с тобой? Где ты живешь? Куда мы идем? -- спросила она.

Парадоксальное, лишь женщинам свойственное построение вопроса, привело меня в чувство.

-- Недалеко здесь, на углу Рубинштейна и Невского. Но нужно немного погулять, пару часов, мама с сестрой свалят к бабушке сестры, (сестра была от очередного отчима) и мы пойдем ко мне. Придет еще один мой замечательный друг, охуенный парень Сергей и можно будет побухать слегка часов до одиннадцати, а потом пойти к другому моему другу, который живет вот в этом доме. Можно пока что зайти к нему, ебануть с ним водки, поболтать, а уж потом идти ко мне, -- я показал на дом.

-- А это удобно? Ведь его не знаю.

-- Какая хуйня! Конечно удобно. Ему на все насрать, а уж маме тем более. Знаешь, что однажды сотворил его папа? Он, со страшного похмелья выпил из какой-то бутылочки, не глядя, учуяв лишь спиртовой запах. Подумал, боярышник там, или другая какая микстура волшебная на спирту. Ну и естественно начал загибаться. Практически двинул кони, но тут пришла мама и увидела веселого папашу всего в пене и дрыгающего копытцами как эпилептик, танцующий канкан. Вызвали "скорую", папашу откачали кое-как и, потом, врач спросил, что он пил. Папаша показал. Такие бутылочки бывают только в кино. Да и то, в кино дурного пошиба. Реально, на ней был череп с костями и написано "Яд" большими буквами. Я своими глазами ее видел потом, клянусь. Где они, блядь, ее взяли? Зачем? И что там, на хуй, за яд был, неясно. Может, соседей отравить хотели. Или сына. Или друг друга. Да мало ли кого. Короче, в такой семье мало чему удивляться.

Я боялся, что она начнет сейчас отмораживаться, мне послышались сомневающиеся и раздумывающие нотки в ее голосе. Я не верил в бога, но взмолился никому неслышным внутренним голосом "О, боже, не дай мне умереть, пусть она согласится и не потянет меня в кино или кафе. Пусть прямо сейчас взорвутся все кинотеатры и кафе этого гребаного города". Хоть я и до сих пор тупой, упертый атеист, но бог никогда не плевал мне на макушку и какой-то, довольно не хилый ангелок всегда приглядывал за мной. И я услышал тот ответ, на который надеялся.

-- Да уж, интересная семья. Ну, пошли туда. Мне холодно, -- она с нескрываемым интересом посмотрела на дом.

В эту квартиру мы всегда затаскивали баб. Там жил мой одноклассник, один из трех бедных одноклассников моего буржуйского класса. И у него, о, чудо из чудес, была своя огромная комната, расположенная в коммуналке запредельной длины, подходящей на кишку чудовищного питерского питона. (В простонародье Пи-пи) В комнате находились две кровати, раскладное кресло, стол и магнитофон. Все, что нужно веселым ребятам - начинающим алкашам и бабникам. Маме его было совершенно пофигу, кого он там привел к себе. Исходя из того, в каких ханжеских, пуританских временах мы существовали и, учитывая нашу молодость, скованную запретами на алкоголь, секс и всякие другие глупости, подобная фазенда была сродни дворцу. Всегда открытая хата в двух шагах от дома. Лишь выпить приноси. И еще там были ТАРАКАНЫ. Не тараканы, а ТАРАКАНЫ. Потолок на кухне являл собой сплошную шевелящуюся массу. Это завораживало. Нельзя было отвести глаз от огромной, кипящей похлебки из коричневых живых бобов. Тараканы не обращали ровным счетом никакого внимания на людей, не боялись света, очевидно, и небезосновательно, считая себя настоящими хозяевами квартиры. Они сыпались градом с потолка и потому, ночью мы выходили в коридор и на кухню, предварительно укрыв голову газеткой. Я до сих пор помню как иногда они падали с громким стуком на эту газетку. Брр. А еще я видел то, что больше никогда не видел в своей жизни, кульминационный момент тараканьего существования, насмешка над людьми и окончательная демонстрация своего, тараканьего могущества. Они ЛЕТАЛИ, мать их. Недалеко, но летали. Вернее планировали и могли спланировать прямо на лицо. Ведь тараканы не очень опытные летчики.

Пока мы поднимались в квартиру В. начала говорить. Тут я понял, что ее IQ, мягко говоря, чуть ниже моего, но не стал придавать этому значения, так как чувствовал ее всю. Любой недостаток этой девушки компенсировала явная, неподдельная женская жертвенность, что читалась в интонациях хрипловатого голоса и в темных, очень человеческих глазах. Это был хороший человек, может слегка наивный, но явно мой. И, потом, у нее была нереальная грудь, а я, как человек падкий на все отклонения от нормы и любые, малейшие намеки на вульгарность, уж здесь то точно не мог пройти мимо, не испытыв желания прикоснуться к этому прекрасному вместилищу молока. Я начал понимать, что так притягивало меня к ней. Эта девушка была в меру вульгарной, сексуальной бабой, при этом, странным, непонятным образом всегда оставаясь "девушкой у об-

рыва", мечтой бардов-"шестидесятников". Тогда я сказал себе "Да и насрать на то, кто она и что. Мне же не в шахматы с ней играть".

Я ошибся. Мозги, как выяснилось, все ж таки не довесок для женщины, а необходимое условие ее успешного сосуществования с мужчиной. Не знаю, кому как, но мне не нужен всадник без головы, да еще и женского пола. А я мужской шовинист. Вот уж не думал... Приятное открытие.

V . . .

По поводу «Копии»

Основной вопрос философии не в том, что первично – дух или материя (еще глупее вариант – курица или яйцо), а в том, является ли идея (философская) чем – то большим, нежели просто продуктом индивидуальности, как нас убеждал Ницше, вопреки Платону и всей европейской философии. Теперь мы знаем ответ – идея это моментальное воплощение метафилософии, где невозможно создать что – либо новое, ибо все давно уже сказано. Но отменяет ли эта посылка ценность индивидуального опыта самоанализа, хотя бы для того же индивидуума? Каждый решает сам. Любой человек ищет свое место в этом мире, это всегда его личный опыт философствования. В большинстве случаев место находится, социальное чудовище съедает человека, он живет полноценной жизнью. Тут действует правило – тем более полноценна жизнь, чем меньше в ней философии. У человека появляется мировоззрение, т. е. жизненные принципы, которые со временем из-за сопутствующих моральных дилемм приобретают характер ненависти (к бабам, америке, пидорам или хачикам – это уже не так важно). Свобода – это тяжелое моральное бремя, потому что любой нормальный человек не знает, что с ней делать. Нужен определенный стиль, ограничение этой самой свободы в определенные границы. Что такое свобода? Это ничто. Если все можно, то ничего и не нужно. Но маргинальность – не есть ли она просто особое но все равно «место», которое несимпатично большинству, т. н. обывателям? Границы пошире, но ограничения подчас еще более жесткие. И они всегда были известны. Это и есть МЕТАЖИЗНЬ. Ничего индивидуального человек не проживает, потому что все давно прожито кем – то другим (Другим – ?...) и отрефлексировано.

Очень правильное название для рассказа индивидуальных переживаний – КОПИЯ. Мы все овечки Долли. Возникает вопрос – что же, человек и в искусстве не может выйти за грань собственной личности? По моему нет. А стоит ли? Как раз в нем индивидуальность реализуется в полной мере (или же исчезает), что в принципе одно и то же. Особенно это стало сейчас ясно в отношении литературного творчества. Правда метатекст здесь это просто вся совокупность текстов, но я вкладываю в это слово более глубокий смысл – метатекст есть следствие МЕТАЖИЗНИ, происходящий из банальности индивидуального опыта.

Честное повествование, когда перед тобой только твоя жизнь и язык, средствами которого надлежит ее выразить, мало кому удастся. Когда же это удастся, как в данном случае, приятно читать такой текст, но он – на один раз, здесь нет литературной игры. При желании можно было бы найти много общих (с классиками – от Филиппа Рота до Венички Ерофеева) мест, но связь присутствует скорее с образом жизни и речевыми оборота круга общения автора в описанный период («отмазка алканоида»). Для меня ценны также мелкие детали (вроде моделек машин на полке), которые придают письму бытописательскую остроту, привносят в него дух времени. Удачно сочетаясь со сложными, но в то же время артикулированными самоопределятельными построениями, они делают текст интересным не только автору и его психоаналитику. Баланс между результатами персонального преломления вечных тем дружбы, любви и скуки жизни и приемами «среза жизни» может в итоге дать целостное произведение, достойное стойки Дома Книги.

И бабушки были очень
много цветов. Из денег
(5 копеек) мне дали бабушка
(5 рублей) у меня осталось
лишь 93 коп.

Купили вы прищипок? вода
одежда.

Наши мне письмо
покрыли все что касается
дружбы

So long

Сразу извиняюсь за мегафтоп.
Выражаться коротко вообще не умею, так
как профессия - писательство. Слишком
громоздко для доски. Потрешь эту
хуету и прав будешь, админ. Перешлешь
куданишь, тоже неплохо. Но ваша геста
очень понравилась, на другие даже не
хожу. И я увидел человека, по кличке
Белый, (если это он, конечно), и как-
то вспомнилось все, о чем забыл давно.
Парни, мне 36 лет. Меня зовут Денис.
Фанатское движение не создало мне
клички, да и не могло, потому, как
и не видело меня особенно. То есть,
кличка есть. Но создана позже - Топ.
Я, приличный мальчик из приличной
семьи, заболел этой, (фанатской) хуйней
неожиданно очень. Где-то отчим принес
журнал, где-то статью Гены Орлова-
Гусева прочитал, и пошло. В 11, в 82 -
м, я выкинул советский флаг с пятого
этажа Невского, когда они не вышли из
четвертьфинала чемпионата мира. В 12
лет я имитировал грипп, имитировал
последующую поездку к бабушке на
излечение, у которой не было телефона,
и никто не мог меня проверить. Так я
косанул школу. Исходя из этого, я, как
последний придурок, поехал на Торпедо,
в Москву. Из 5 !!!! класса, граждане,
один!!! 12, на хуй, лет, один. 83 год.
Страшно было. А я даже не знал, зачем
я еду. За Zenit я, конечно, болел, но,
что бы в совковые времена срываться... Тут
нужно было алкогольное мужество Димы

Клоуна. Кстати, вот эти парни не вызывают
во мне никакого чувства сопричастия к
команде. Я перестал ездить на выезд именно
из-за них. Мы были пионеры. Не ходили на
33-й просто, потому что боялись, и потому
что у моего друга отняли часы на пропой на
33-м, а на 40-й, потому что не врубались во
всяких хиппанов, типа Жени Монаха и панков,
типа моего последующего друга Димы Мячика.
Хотя они ничего не отнимали. Ведь год-то
был 83. Сраный пятиклассник, приехав на на
напильников, первым
делом, перед входом к стадиону, увидел всех
чудесных парней, Верблюда,
Клоуна...кумиров, мать его. Там был отдельный
чувак, который занимался отбором денег у
пионеров. Не помню его клички, хоть убей, но
его жало есть на архивных фото ultras 33.
Такой очень губастый парень. Они не сказали
мне спасибо, за то, что я малолеток (один из
50 человек), притащился в эту сраную Москву.
Им похуй было до Zenita. Юра Желудков, Вова
Казаченок - все. Меня смешит это потому как-
Саша Кержаков и Андрюха Аршавин. Выпить, на
хуй выпить, и туснуться вне совка.
Хотя, этот выезд, один из моих самых
любимых. Несмотря на то, что у меня, есссно,
стребовали денег(и забрали) на бухло - "
За Zenit, бля". Но тот выезд поразил меня
тем, что, когда мы бежали с Торпедо по этой
длинной, длинной аллее сквозь сад, нас от
торпедонов сзади прикрывали кони. Те кони,
которые не ухали на выезд в этот день.
Я почувствовал свою общность с людьми,
верящими в одно дело, пусть они и кони. И
узнал, кто такие мешки. Второй супервыезд
- Днепропетровск. Город был тогда закрыт.
По-советски закрыт. То-есть, никакого
импорта. Совсем. Команда Днепр тогда,
тоже было общество Zenit, и типа мы были
вместе. Воспоминания - пинцет. Мы сидели
за воротами, и стадио просвечивался весь. И
это было жутко. Шапки-ушанки на всех и мерно
вздыхающиеся руки с СЕМАЧКАМИ. Мрак. Они
просили у нас любые болгарские сигареты
на вокзале, по приезду. Но... Матч по-дурацки
кончался, и надо было успеть на паровоз. И
вот я, и два моих друга опаздывали. К нам
подшли три хохла и пообещали помочь. И
помогли таки. У одного папа был начальник
вокзала. Они задержали поезд на 10 минут,
потому что мы не успевали.
ДАЛЬШЕ НАПИШУ ЕСЛИ НАДО БУДЕТ.

Денис Абрамов. Дорогой Топ. Спасибо тебе за искренность. Спасибо за бескомпромиссность в оценке многих и многих музыкантов, о существовании которых я узнал благодаря тебе.

Когда на Роксе Мы делали программку о настоящей музыке, именно ты, Денис, рассказал мне, увлек меня, вначале заставил задуматься, а потом обратил меня в свою веру – веру в ЭТИХ музыкантов.

Chumbawamba, Fugazi, The Pogues, Morphine... В этих людей я поверил благодаря тебе. Эту музыку я услышал благодаря тебе.

Никогда не забуду, как ты, искренне и с немного чрезмерным воодушевлением (как обычно :) доказывал мне, что группа Rancid сделала для развития мировой музыки гораздо больше, чем “какой-то там “Пинк Флойд” или “Даэр Стрейтс” :) Я спорил с тобой, ругался с тобой, но в итоге брал этот Рэнсид и слушал. И мне нравилось!

А потом мы пили с тобой пиво Петровское в душной камерке Мюзик Шока и слушали Моррисси.

Обязательство

Лобушек

дедушке Анто.
мне В. Селизар
от внука Дениса

Я, Абрамов Денис
Обязуюсь слушаться бабушке
во всем и везде, а если не
буду выполнять поведе-
ние наказанно, отнюдь
не выслушаю на ~~2~~ ^{вообще} ~~дней~~

MORPHINE «THE NIGHT»

Та самая ночь, фигурирующая в названии альбома, и забрала, наконец, Марка Сэндмана, вокалиста группы Морфин. Самая желанная для музыканта смерть - прямо во время концерта. Сердечный приступ. Я не знаю, использовал он в своей жизни морфий или нет, но музыка его носила безусловный отпечаток тяжелых наркотиков. Отсутствие гитары, низкий, дрожащий саксофон и плавный, замороженный бас создавали иллюзию некоего опьяняющего облака, которое обволакивало вас, приковывая к музыке и, странным образом, зачаровывая. Они были абсолютно оригинальны, настолько, что никто не пытался им подражать. Все было бы слишком очевидно. Этот, посмертный, альбом лишь усилил атмосферу неявного, расплывающегося тумана, в котором так приятно находиться. Ранее прорывавшаяся местами резкость саксофонных партий окончательно исчезла, уступив место перманентной саксофонной вибрации, напоминающей мелодичный, какой-то почти утробный, гул. Музыка стала тише и, возможно вследствие именно этого, ее магнетизм усилился. Наверное парень чувствовал, что скоро помрет. Это звучит глупо, но говорят, такое бывает. Конечно, это все та же Америка. Бары, бесконечные дороги, случайная любовь, опьянение. Эти обязательные элементы американской «чернушной» музыки будучи прослушаны в интерпретации группы Морфин почему-то совершенно не раздражают и не вызывают отторжения. Наверное оттого, что в их музыке напрочь отсутствуют тупой, дегенеративный пафос Америки и ее кретинская псевдобесшабашность, олицетворенная в мотоцикле «Харлей Дэвидсон». В целом, с моей точки зрения, это самый хороший и ровный альбом Морфин, хотя все их альбомы близнецы-братья. Марк Сэндман сочинил себе лучшую эпифанию, какая лишь может быть. Это был очень хороший музыкант.

ДЕНИС АБРАМОВ

Определение пола

Во всенародной русской любви к PLACEBO есть один лишь утешительный момент, а именно, что это любовь именно к PLACEBO.

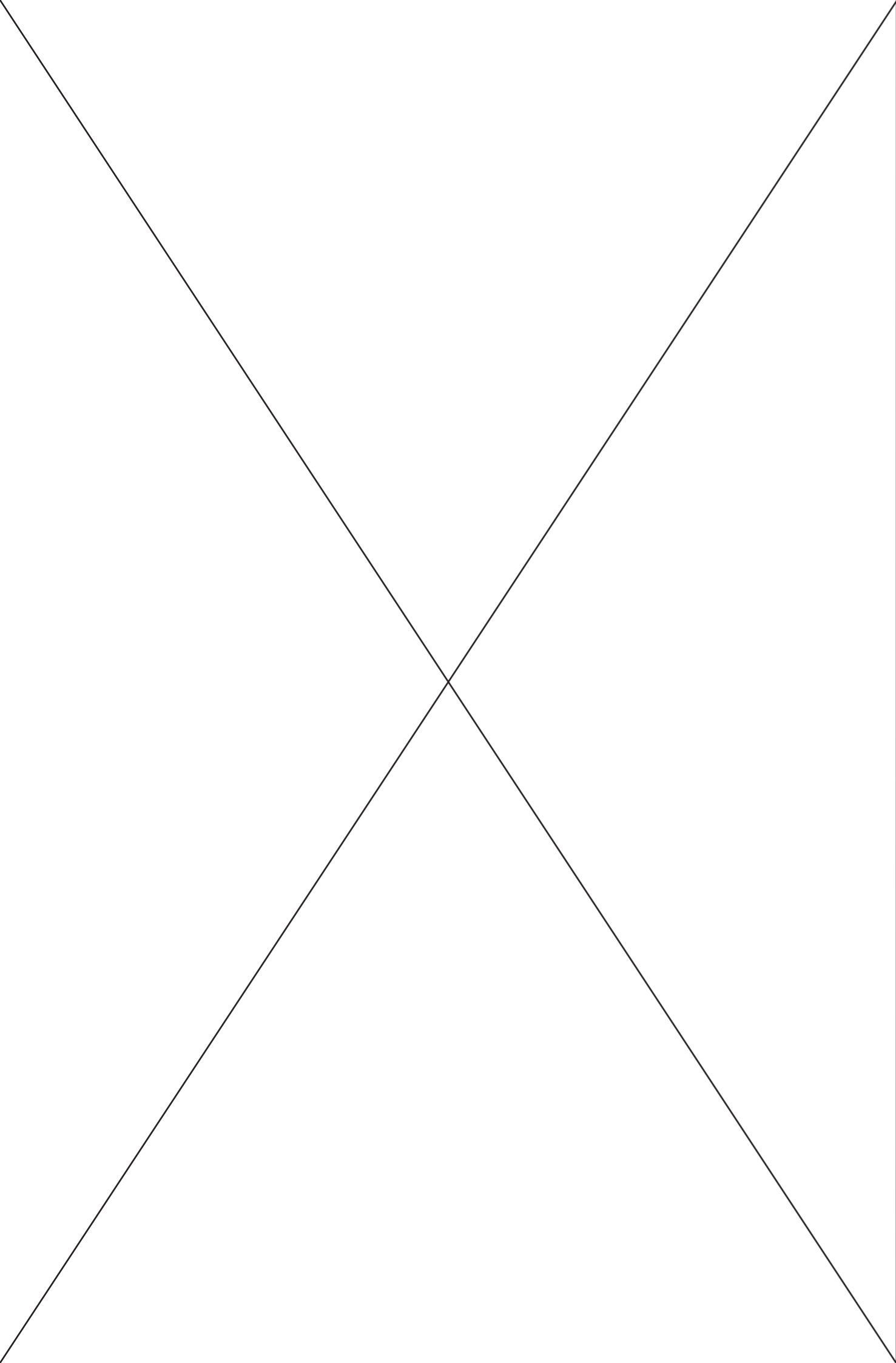
Диагноз для душевного здоровья среднестатистического слушателя музыки как представителя fan-community в целом, ставится сравнительно легко. Выделяем общую любовь, читай манию, и выделяем отклонения. В нашем, русском случае отклонениями являются RAMMSTEIN, MARILYN MANSON, PLACEBO и MUSE. Ставим в медкарте галочку напротив первых двух, как случаев абсолютно патологичных и клинических. Напротив двух последних ставим вопросительный знак, смягчающий общий фон диагностики. Диагноз: Слушатель тяжело болен. Обоснование диагноза: Мания не имеет ничего общего с музыкой. Она носит персонифицированный, личностный характер для слушателя т.к. подход всех вышеупомянутых персонажей к производству почти полярен. Музыка разная. Их объединяет лишь несколько моментов, а именно: все они маргинальны, все дико истеричны, иные опустошающе печальны или фатально обречены на вселенское горе. Но не в этом главное сходство. Прыщавый несчастный подросток с суицидным блеском бритвы в глазах и тяжелейшей психической травмой, вот что, точнее, вот кто, на самом деле горестно рыдает, (или обличает), успешно продираясь на свет из подсознания teen idol'a. Это как в добром американском триллере с претензией на понимание мотиваций очередного серийного извращенца. Если мудрый детектив, предпочтительно Морган Фримэн, предпочтительно на кануне отставки, покопается в детстве маньяка, он обязательно узнает, что маньяк не зря порешил – милое сердцу подчеркнуть – девчушку, старушку, мальчишку, козленка. Где-то там мамаша его не туда уронила, папахен не туда скворешник заставил прибить или подонки-сверстники не вовремя шестой палец на ноге заприметили и сексуально надругались над ним (пальцем). Ab ovo – все идет от начала, дословно: от яйца. Вторая, менее распространенная, но наиболее интересная черта схожести музыкальной freak-генерации та, что часто мы можем наблюдать, как легкий, а в случае MANSON'a и Brain'a Molko (PLACEBO), отчетливый налет андрогинности, бесполой инопланетной чужеродности роднит всех подобных музыкальных парней. Оговорюсь сразу, что я люблю и PLACEBO и MUSE, и всю эту

милую батарею несчастных лишенцев во главе со стоящим поодаль Tom Yorke (RADIOHEAD). Но... Но "Но" мое, надеюсь, не является фактом отождествления себя с поющими их гитарами. И, называя конкретных персонажей, я все ж таки имею ввиду не их самих, а то, как, в общем-то, довольно безобидный перверсионизм (извращенность) публично поющих фигур приводит к эскапизму (уходу от реальности) целые селенья Тверской или Йоркширской области. То есть их подростковую часть, естественно. Вообще то надо сказать, что в этом, по большому счету, нет ничего особо удивительного. Понятно, что психология данного возраста неустойчива и склонна к фантазии и мифологии. Обычное для каждого нормального подростка отрицание родительского опыта приводит, зачастую, особо слабых на голову особей к вытеснению в своем сознании детерминированности гендерных ролей. Вот так и возникает у подростка неосознанное любование носителями чего иного, носителями некой поведенческой и сексуальной отличности. Когда мои эстетствующие друзья недоумевают по поводу массовой популярности не самых сладких и попсовых парней, как-то, в нашем случае, PLACEBO, призванных, по их разумению, обслуживать лишь богоизбранных, тонкочувствующих людей с печатью Оскара Уайлда на темечке, я молчу. Влечение к андрогинности – давнишнее заболевание человечества. Ранее данное влечение имело скорей болезненно-религиозный контекст, в котором объектами влечения выступали Ангелы (Господни), кои, как известно, были напрочь бесполы. В отсутствии пола и, особенно, в отсутствии его генитальной составляющей человек подсознательно пытался узреть чистоту помыслов и деяний, в противовес мерзости окружающей реальности. Тщетно. Сейчас подобное влечение носит остаточный характер, когда черты ангела-идеала приписываются, дистанционно, различным публичным фигурам. Либо же акцентируются физические черты реально существующих рядом людей ("ангельское личико" и проч. лабуда). К такому варианту, по понятным причинам, более склонны девушки-подростки. Другой вариант, цветущий сейчас пышным цветом, носит мифологический оттенок. Мы видим массу примеров восторженного интереса подростков к героям постмодернового эрзац-мифотворчества, т.е. к "фэнтази", всем областям музыки с налетом мужественной чернухи или goth (готики)

как-то, собственно сам goth-rock, black-metal, электроника плана DEUTCH NEPAL, COIL или Конанам –Зенам всякого калибра и пошиба. Андрогинность здесь проявляется в том, что приоритетные для подростка понятия типа, "настоящая дружба", "настоящий мужик", "баба-огонь", связанные с верностью, клановостью, искренностью и прочими "...за братана" понятиями, гипертрофированно донельзя, что, как правило, и исключает полностью наличие у героя центробежной силы сексуального инстинкта как такового. Хотя герои, зачастую, визуально имеют признаки нереальной сексуальности. Но времени на глупости у них нет. Этот вариант teen-излома наиболее близок юношам-подросткам. Что касается музыки, то наблюдаемая, а иногда испытываемая, юношами и девушками непреодолимость жизненных противоречий приводит к чрезмерному увлечению музыкантами, многие из которых обожествляются подростками. Просто еще один способ бегства. Эта экзальтация связана нынче не с музыкой скорей, а с посланием объекта поклонения, и оное послание транслируется современным teen-идолом через его медийный образ, создаваемый видеоклипами и прочими подручными медиаресурсами. Музыка же, к сожалению, является важной, но все же вспомогательной частью образа. Но исполнители вовсе не виноваты в подобной ситуации. Зачастую они абсолютно честны на сцене и сами страдают от подобного фанатизма. Кому может быть приятно разрывание на клочья одежды или даже лишение различных конечностей, уносимых с концерта какой-нибудь обезумевшей симпатичной девчушкой. Вот она не сетяся домой, пряча у сердца чей-то детородный орган. Мило, не так ли? Вообще, институт фэнов в последнее время подвергается сильной эрозии, когда уже даже не образ бога, не изображение его, а индивидуальная идентификация с тем или иным персонажем масскульта становится главным аспектом, "пунктиком" поклонения. Зрима и принимаемая со сцены андрогинность есть подсознательное стремление подростка стереть или хотя бы переплести две гендерные (половые) программы, одной из которых он посвящен с рождения как мальчик или девочка. Отчасти это и момент подросткового бунтарства. Не стоит, конечно, забывать и об элементе модности во всем этом. Так называемое "... У Пети есть, а я тоже хочу", где "Петей" выступает некий локальный авторитет в области музыки или кино. Этот элемент во всей красе проявился во время ретроспектив Фассбиндера в Питере, когда большая часть юношей и девушек, весьма туманно представляя себе, какая все-таки страна изготавливает этот автомобиль под названием – "Фассбиндер", честно отсидела все сеансы от и до. Но то были т.н. "умные" и "продвинутые" парни и девушки. Тем не менее, мотив сходен. Здесь вообще-то не применимы термины

"хорошо" или "плохо". Это просто данность. Именно такая, или примерно такая ситуация наблюдается сейчас в той части слушателей музыки, которую принято именовать словом "фэны".

Все это было легкое предисловие к выходу нового альбома группы PLACEBO.



Из того, что хотелось и
планировалось в этом сборнике,
удалось не все.
Думаю, что нужно продолжение.



АМИHAZINE - название, придуманное Денисом для панк-фэнзина, который стал известен, как "Ножи и вилки".



©

2008

kroupinina@gmail.com